

Классическая музыка

Да, вита бревис, арс, ей-богу, лонга...
Дрожит от наслажденья перепонка
под тяжестью классических ладов.
И все равно: пластинка, диск иль плёнка:
она не рвётся даже там, где тонко.
Вот – истина, и никаких понтов.
Затягивай, волшебная воронка!..

Мне кажется порой, что мастера
хотели бы, чтоб некая стена
пред ними возвышалась неприступно,
будь это суд спецов иль вкус двора.
Да, в мире, где есть жизнь, а есть игра,
что-что, а нарушать канон преступно:
ты проиграешь, и довольно крупно:
ты будешь нищ, гоним ет сетера ...

Рассудок, помолчи! Потом, чуть позже.
Мне нечего сказать, а лишь: – О Боже! –
когда из тишины – то мрак, то свет.
И время встало вдруг – чего же больше? –
в пространстве, а в Германии иль в Польше –
гадать ни смысла, ни желанья нет,
а лишь – дыханья огненного след,
а то наоборот – мороз по коже.

Колеса, полозья и крылья носили меня
 по суше, по тверди.
 И, может быть, это пустая была суетня,
 нелепость, поверьте.
 На старом с безумной пружиной диване своем,
 свободный как птица,
 я все испытал: и упадок, и дерзкий подъем.
 Куда мне стремиться?

Да, жизнь оказалась длинна, хоть и не велика.
 Высок потолок мой,
 и все, что мне надо, способен я взять с потолка
 на нищий листок мой.
 Любил я – и как! Я собой оставался – и где!
 Похвал и затрецин
 мудреную вязь потолок мой таил в черед
 подтеков и трещин.
 Как мне объяснить вам, с наглядностью умной какой
 при каждом вояже,
 что Господу внятней задумчивый дерзкий покой,
 чем скорости ваши...

Задумчивый!.. Я начинаю прямой репортаж,
 при кофе, при пледе –
 о том, как я прямо с дивана вступаю в пейзаж,
 неведомый прежде.
 О, как же в нем остро дыханье болот или гор.
 Здесь дышит, наверно,
 какой-то совсем незнакомый и новый простор
 для Жюля, для Верна.

Памяти сестры Тани

Когда-нибудь потом, когда – и сам не знаю,
 я прилечу в тот день над Охтинским мостом,
 чтоб видеть, как июнь, смеясь, подходит к маю.
 Но это не сейчас – когда-нибудь потом.
 Тогда я, появясь из старых стен вокзала
 на схлест забытых стога, подумаю с тоской,
 что тот – за рубежом, ну а того – не стало,
 а этот, хоть здоров, какой-то не такой...

Пока же у перил над серой невской бездной,
 как через восемь лет в уральском ковыле,
 порхает махаон, и это интересней
 всего, что в этот миг творится на земле.

А на земле, меж тем, увидеть можно много:
 и ночь светлее дня, и Летний сад в цвету,

и как моя сестра, красавица от бога,
лениво ни во что не ставит красоту,
а говорит стихи про черный снег и ветер,
про революционный шаг разбуженных братков.
И Зимний там, вдали, красив, но безответен,
молчит, как он молчал в течение двух веков.

А дальнего моста чугунная громада
связала берега. Мост дивен и чумаз.
Но махаон летит, и ветер Ленинграда
не хочет унести его от детских глаз.

Поезд Москва – Владивосток

Помнишь этот поезд на океан?
Русское раздолье плацкартное.
Десять раз – багровый рассветный туман.
Десять раз – огнище закатное.
Ты играешь сценку, будто ты пьяным-пьяна.
Бестия! Твои ласкаю кисти я.
И опасно урки ржут в проходе, у окна –
амнистия!

Розовый порхающий лихой лепесток
залетел в окошко вагонное.
Все, что было, – прошлое. Владивосток –
наша неизвестность законная.
Цвет воды – бутылочный, немирный, как нож,
с острым же и незнакомым запахом.
Омуты и омули Ангары, что ж,
были вы востоком, стали западом...

Это же конец бесконечной страны.
Это вам не Крым, не Сочи – это вам
на закате палевый отсвет волны
с отсветом почти фиолетовым.
Это жизнь у пристани, на краю,
жадная, бесстрашная, грешная,
для меня – Марсель, для тебя – Гель-Гью,
а для матерей – тьма кромешная.

Нам медяшкой простенькой казалась луна,
там, в ночной Москве, над высотками.
Серебром бесценным нам предстанет она
здесь, над океаном, над сопками...
Как перрон ползет к нам! Тормозим. А народ
Здесь особый, чую по запаху...
По перрону Киплинг с мощной тростью идет,
консультант Востока по Западу.

В ЭВАКУАЦИИ. СТАНИЦА

Птицеферма

Средь мелких плимутроков и леггорнов
вальяжны, как гвардейцы, кохинхины.
Откуда-то из детства звуки горна
летят, летят сквозь заросли рябины.
Трагическое место птицеферма.
Идёт петух, величествен и мрачен,
с осанкой и судьбою Олоферна:
топор уже отточен, час назначен.

И наблюдая за народом птичьим,
и Тацита припомнишь, и Плутарха:
народ ответит полным безразличьем
на казнь высокочтимого монарха.
Лишь пёрышко из царского наряда
над курами летает и доньше,
да петушок невзрачный не без яда
толкует что-то о пустой гордыне.

Теперь – другое

В Москве мне двор нес про любовь такое!
И все, что под покровом, все нагое
неугомонно проникало в сны.
Я думал: враки!
Но оказалось, что я жил во мраке.
Мне дружно свиньи, козы и собаки
доказывали правоту шпаны.

Все так и было –
по слову Дрына, вора и дебила.
Эпоха тыла это подтвердила:
торжествовал порок!
Кот – кошку Лушку,
петух топтал несущку,
и пинчер Джек трепал свою подружку
не всякий день, но в предрешенный срок.

А тут
границы Спарты,
указкой теребя прорехи карты,
красавица Айгюль с соседней парты
показывала робко – глазки вниз.
Она – и так?
Да пусть и через годы
она – и так?! Она, венец природы!
Но тыл являл мне случки, после – роды.
И кот весь март в загрибок Лушку грыз.

И зверь, и птица
блюли свое. Что ж, надо согласиться.
Но все же это – морды. Мы же – лица!
Я на бездетность обрекал свой род...
Чего иного,
а землю не собьешь с пути земного.
Фронт убивал. Но тыл рождал нас снова.
И продолжал земной круговорот.